

Вениамин БЛАЖЕННЫЙ
(1921–1999)

СТИХИ И ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ¹

Публикация, подготовка текста Владимира Орлова

Вместо предисловия:

Из письма Л.М.С.²

Кое-что о себе (раз уж Вы заинтересовались).

Поэтическая судьба моя сложилась крайне неудачно. Я никогда и не рассчитывал на счастливый вариант, ибо шел под девизом Цветаевой, – навстречу своей гибели.

Верлены, влюбляющиеся с ходу в мальчиков-Рембо, встречаются раз в столетие. (Первооснова – стихи, эротика и известный выстрел могли и не быть.) Но, как правило, боготворимый Гёте беззлостно взирает на молодого Гельдерлина. Или Клейста – Гейне – Вебера. Вспомните – на столетие ближе – сдержанность Блока. Более чем сдержанность.

Речь идет не о моем поэтическом даровании. Его признали быстро и безоговорочно. Речь шла о поэте-человеке (или, как позже стали писать, «лирическом герое»), распорядившемся поэзией, как маньяк женщиной – иступленно и безрассудно.

Старик Пастернак не прощал себе юношеского обожания Маяковского. Мою поэтическую необузданность (не в форме, не в отношении к слову – в расхристанности самой поэтической сути) считал он болезнью возраста и давал благожелательные советы. Говорил о широкой дороге. Верил ли в нее он сам? («Я так же одинок в поэзии, как Вы у себя в Минске».) Но ведь не так-то просто было, еле вместили в себя Цветаеву, отозваться всем существом на стихи никому неведомого мальчика. Цветаева была бессмертна в ореоле петли, – я, писавший о смерти, мог заделаться через год-другой штатным сотрудником «Комсомольской правды». Разве мало примеров поэтического ренегатства? И все-же какой-то частью размашисто-чуткой натуры он любил меня, засиживался часами, дарил стихи, совал деньги в карманы, задумчиво отчеркивал строки:

*Стучусь в окно – как ветер зимний,
но я не ветер – я не ветер;
Еще не выдуманно имя
Мне, бесприютному на свете.
Хозяин дверь приоткрывает
И гонит мальчика-бродягу,
И на меня собака лает,
Как на бездомную собаку.*

¹ *Источники:* Центральный московский архив-музей личных собраний. Автографы в тетрадях, Фонд Нины Бялосинской. Л-254.1.458: «Стихотворения за 1949–1981 годы»; Л-254.1.459: «Стихотворения за 1983–1986 годы»; Л-254.1.460: «Стихотворения за 1981–1987 годы». Проза: РГАЛИ. Ф 3144. оп. 1. ед. хр. 115.

² *Источник:* РГАЛИ, ф. 3144, оп.1, ед. хр.115. Инициалы адресата не расшифрованы.

С Антокольским дело обстояло проще. Этот сам никогда не был личностью и в других ее не торопился увидеть. Решив, что я щеголяю не в костюме века, бывший актер советовал перерядиться. (Даже не переродиться.)

С Сельвинским я не встречался, только переписывался. Воспитатель целого поколения поэтических петушков, он и меня хотел приобщить к стае (профессиональное пение сомнительной бодрости). Культивируемые им поэты спешили откликнуться на злобу дня. Мне же нужно было откликнуться на тысячелетия человеческих страданий. С годами определились границы непонимания и мы перестали переписываться. Но – он первый, кто написал мне: «Вы – безусловный поэт».

Тарковский признал сдержанно-горестно, приглашал в Москву. Но после смерти Пастернака Москва стала для меня чужой.

Веселее всех откликнулся Олеша. (Впервые встретились у Кирсанова.) По пьяной лавочке объявил меня гением. Даже то, что я в принципе непьющий, не уронило меня в его глазах.

...Почему я пишу о признании мастеров и ни слова о том, печатался ли, издавался ли?..

Потому что, начав писать стихи, мечтал только о первом – и никогда всерьез не интересовался вторым. Напечатают ли меня через сто лет, пропадут ли стихи, – я все-таки был поэтом. «...С меня довольно / сего сознания» («Скупой рыцарь»).

1970

Память

И вдруг –

такое вспыхнет горе...

И что тут счастье, что любовь?

Такое горе – бросишь в море –

Огнем займется на просторе,

Багряным, факельным, как кровь...

1959

По лесам гулял я, леший...

Мне бы больше не грешить,

Ан в душе-то – брешь на бреши,

Блеск подлейший, блеск святейший,

Окаянствие души.

По лесам гулял я с толком:

То ли волка оседлав,

То ль на елке – тихомолком –

Щелк за щелком – хвост задрал.

Листья падали с деревьев,

И, колени распластав,

Зарывался я, шалея,

В запах тленного листа.

Было стыдно, было тихо... —
Из звериной тишины
Шла животная лешиха,
Пахла хлебом аржаным.

Пахла сытно и недобро...
.....
По небесной мостовой
Я гонял небесный обруч,
Обруч — месяц золотой.

...Лес, как сонная старуха,
Шамкал высохшим листом;
Словно муха, — по-над ухом
Заводил и я свой стон...

1964

Сказка смерти

Усопших маленькие души,
Я посажу вас на ладонь —
Как сто и тысячу игрушек,
Как обгоревший кошкин дом.

Вы стали суше, глуше, уже,
Иссяк бессмысленный огонь.

1965

Крест мой, крест — не золотой, не серебряный —
Крест мой, крест — деревянный родич, —
За какими бредешь ты дебрями,
За какими лесами бродишь?

Я не мясом оброс, а глиною,
Потому и с землей погоста —
Со своей недалекой гибелью —
Разговариваю так просто.

«Не за дебрями, не за далями —
Тут я рядом — твоя погибель,
Я бреду за твоими печальями
И усну на твоей могиле...»

1965

Кто сам собака, не боится лая.
Облаян псами
И ногу над погоней задирая, —
Собака сам я.

1967

Нахлебник

Вы знаете, как голодал отец?
Рассчитанную голодом на день,
Краюшку хлеба вынув, как ларец,
Он долго-долго на нее глядел.

И я, его обуза и тоска,
Рукою вытирал вспотевший лоб
И молча ждал хозяйского куска,
Как ждут собаки — преданно и зло.

1974

Остервенев от голода
Вблизи сараев и сортиров,
Забыли праздничные голуби:
Они и вправду птицы мира.

Они и вправду всем завещаны
Каким-то вечным обещаньем,
Они и вправду птицы вечности,
А не помойное исчадьё...

1976

Две смерти

Я знаю — перед смертью Клюев плакал,
Когда кончал молитвой скудный день,
И Сатана поднес горящий факел
К его благообразной бороде.

И голову, что билась в исступленьи
В палаческих бесформенных руках, —
Пинал ногами мертвыми Есенин,

Свисая с потолочного крюка...

1977

А ведь у трупа было имя.
...Пока живой была душа,
Он не хотел его с другими –
Недружелюбными – мешать.

Но опочил гордец в приюте
Безликой вечности гробов...
И как назвать его мне? –
 лютик?
Пустырник? мятлик? зверобой?

1977

Да, я старик и это знает всякий,
Кто в суете бессмысленного дня
Меня не отличает от собаки
Или от развалившегося пня...

Но юноши с надменными глазами,
Те, что мои освистывали дни,
Стареют, становясь седыми, сами
Похожими становятся на пни.

1978

Не пришла к Марине старость –
Бог не захотел,
Чтоб седой ему досталась
Для любовных дел...

Высоченный, благочинный,
Скрытен, темнолик, –
Бог зверел, узрев Марины
Непокорный лик...

И за то, что, как по суху,
Шла в огонь и в водь –
Истязал свою присуху,
Плетью бил Господь...

У Марины – лоб высокий,
Очи – две слезы,
Непутевый, одинокий,
Золотой язык...

1978

Охотники

Я ухожу в себя, как в лес
Уходит зверь, боясь рассвета,
А вы – с ружьем наперевес,
С ружьем, с огнем – за мною следом...

Однажды видел вас я днем –
И замер в ужасе... Живые!
На лицах, выжженных огнем,
Глаза зияли ножевые.

1979

Старики, беременные смертью,
Грузные проносят животы,
Где смешалось плоти непотребство
С трупным жиром – рыжим и густым.

Старики, беременные злобой,
Кроют всех живущих матерком... –
Злоба – у нее и вид особый,
Как у стариков.

1979

От горести издох он, от тоски –
Покойника в монашеской рубашке
На свалку провожали пауки,
Букашки семенили, как монашки.

Двуногих было меньше в этот день –
Или их вовсе не было; а впрочем,
Всемирного обряда дребедень
Свершилась почему-то поздней ночью.

И поп об опочившем не радел,

Не оскорбил сосед прощальным словом...
Покойник был при древней бороде
И путами вседневности окован.

Но пауки плели большую сеть;
Букашки нервно вздрагивали в лунных
Лучах; брели в серебряной красе
Кузнечики, игравшие на струнах.

Природа восклицала: «Человек,
Настало твое время для исхода —
Окончив неуживчивый свой век,
Иди туда, куда ведет природа...»

...Дубасил жук усатый в барабан
И на трубе играл попеременно,
И плыл покойник в море-океан, —
А может, в лужу грязную вселенной...

1979

Звезду увижу сирую,
Не твой ли это зрак?
Звезду из бездны вырою,
Лопатой врежусь в мрак.

Дружок мой обескровленный,
Как страшен твой удел...
Как долго был ты в космосе,
Ты весь заглодел.

1979

Пища дневная — хлеб,
Пища ночная — женщина.
Не отвергай, нелеп,
Мира закона вечного.

Будет прощен Адам,
В рай забредет по лестнице...
Будет ему и там
Евы краса мерещиться.

Что ему рай и ад,

Ангелов смутных облики,
Если у Евы зад –
Как грозное облако?..

Вспыхнет, слепя, гроза –
И воспалится завязь...

.....

Ангельские глаза
Перекосила зависть.

1980

В осеннем возрасте нежнейшем
Сию я в парке в уголке,
И вспоминаю прошлых женщин,
Их развязавшийся букет...

Сию я в парке на скамейке,
Шалею тихо от тоски:
Какие женщины померкли,
Оттрепетали лепестки...

1981

Придет ребенок годовалый
С дубиной дюжею в руках...
Он человек в миру бывалый,
Он на меня нагонит страх.

Он на меня нагонит робость,
Он искорежит мои дни...
Его тугая крутолобость
Убийце взрослому сродни.

И в облике – звериный облик:
Он то ребенок, то старик...
О, сколько их, таких недобрых,
Таких косматых изнутри!..

Ребенок сдавленно смеется,
Стоит на выгнутых ногах...
Железный палец полководца
Приставлен к миру, как наган.

1981

Да, мир реален; это значит,
Что ждет живущего беда,
Что если горестно он плачет,
Текут не слезы, а вода.

И в той воде купают ноги
И парят с нею мозоль
Тупые кряжистые боги, —
Им так целебна наша боль...

1981

В компании знакомых алкашей,
Прищутив многоопытное око,
Так часто говорил я о душе,
Что слыл большим по этой части докой.

Я говорил, что тело — это дрянь,
Любая потаскуха им богата,
А вот души таинственная грань
Таинственной мерцания агата...

Когда же я признался, что вина
Сладимее души нектар небесный,
Была обескуражена шпана —
И вкус души я ощутил телесно...

И у меня, готового слезу
Пролить души спасения во имя,
Был выбит алкашами шаткий зуб,
Так долго и так бережно хранимый...

1982

Мама ушла надолго,
Может быть, навсегда...
Льдами окована Волга,
Полая сходит вода.

Лето мерцает громами,
Грозный укор затая...
Полнится памятью мамы
Круговорот бытия.

1983

На исходе земных своих лет,
Поседев от невзгод и утрат,
Я открою вам мудрый секрет:
Даже Бог – глуповат.

Или, может быть, просто он стар,
Старше всех в человеческом роду,
И, как водится в жизни, устал –
Даже спит на ходу...

1983

Такого нет на свете, –
Был, да слизала тьма,
Был, да развеял ветер,
Был, да сошел с ума.

И всё вокруг, толково
Свой завершая день,
Твердило: – Нет такого –
И не было нигде...

1983

Я перед смертью буду плакать долго
И так скажу: – прощай, моя река,
Бессчетных дней моих взволнованная Волга,
Уходишь ты куда-то в облака.
Тебе в лазури время раствориться,
В небесной вышине и глубине,
Где трогает зенит усталым клювом птица
И где никто не вспомнит обо мне.

1985

Бог и женщина

– С мужиками блудила? – Блудила.
– А детей родила? – Родила.

– Бог с тобою, нечистая сила,
Сотворяй роковые дела...

1985

Зачем эта сцена встает из прошедшего?
Отец с узелком в коридоре больничном,
А я приближаюсь шажком сумасшедшего
С надменным, слегка искаженным обличем.

– Отец, я могу тебя нынче порадовать:
Узнал я – вчера заседание Сената
Избрало сынка твоего императором –
Отец, пред тобою стоит император...

Но ты ведь явился глашатаем страшного,
Большая тебя удручает утрата,
Иначе бы ты с узелком не похаживал,
Не прятал в нем голову мертвого брата.

А впрочем, тебя не хочу я расспрашивать,
Понятны и мне твои трудные вздохи:
У брата, престолонаследника старшего,
С престолом дела после гибели плохи...

1985

Я все это видел однажды,
Когда я скитался с сумою:
От голода мёр я и жажды,
А кто-то, не видимый мною,
Невидимый, видимый духом,
Сидел на небесной подушке:
Вмещало огромное брюхо
Котлеты, паштеты, ватрушки...
Да что там ватрушки!.. Я видел
Себя – в этой страшной траншее,
Себя – в недожеванном виде
С обрывком веревки на шее...

1985

За пределом

Спите, спите в смерти,

В сердце немоты,
Ангелы и черти,
Люди и скоты.

Словно кот на подоконнике,
Развалился сытый Бог, –
И бредут к нему покойники,
Каждый держит свой венок.

Говорила робко матушка:
«Ах, сыночек-дуралей,
Не ко мне спешит – к Ахматовой,
Знать, стишки всего милей...»

Тишина стоит багровая –
Топорище и топор –
Смотрят черти густобровые,
Смотрит ненависть в упор.

1986

Бессчетно раз сожжен, бессчетно убиенный,
По долгу мертвеца о всех живых скорбя, –
Скажите, сколько раз живу я во вселенной,
Скажите, сколько раз я жил в ней до себя?

Я трогаю рукой горбатый ветхий остов
(Вселенная хребтом похожа на кита),
И вот он – дикий я: колтун, парша, короста, –
Евангельских чудес грядущих красота.

Но нет, совсем не тот я на распутье смуты,
Еще я должен в снах услышать свой же зов...
Во мне считает мир тревожные минуты,
Как будто в глубине чудовищных часов.

Мне обрести себя хотелось бы в той твари,
Что медленно ползет из желтого песка,
Не зная ничего о неминуемой каре,
О смерти и судьбе и слыхом не слыхав.

1986

Что снится сумасшедшим на рассвете?..
Им снится сад, где столько яблонь-груш,
Что их в корзины собирают дети.

Как головы уже умерших душ.

И вот ребенок подбирает маму,
Она лежит в румяной кожуре,
Похожая на королеву-даму
В картежной упоительной игре.

Что снится сумасшедшим, когда дрема
Так сладостна, что мальчики во сне
Потешатся в саду родного дома –
И не дают покоя Сатане?..

Еще не отросли хвосты и роги,
Еще в саду не слышен стук копыт,
Еще для них открыты все дороги,
Которые загонят их в тупик.

Загонят в поднадзорные палаты,
Где их завянет праздничная плоть...
Ах, мальчики, – они не виноваты,
Что их такими сотворил Господь!..

1986

Уже он был старик глубокий,
Уже на темя старика
Роняли пестрый сор сороки,
Покрылась пятнами рука.

Уже сидел он, как преданье,
Как бы подточенный тоской,
С остекленевшими глазами,
В помятой шляпе шутовской.

...Старик, старик, чего ты хочешь
И на кого же ты сердит,
Когда с тобою – очи в очи –
Подруга грозная сидит?

Она сидит, поджавши губы,
Сжигая взорами кусты,
И завывают дико трубы
В кустах, лишенных красоты.

1986

Ах, какой это был элегантный старик!..
Когда не было галстука или же банта,
Он подвязывал к горлу свой собственный крик –
Получалось весьма и весьма элегантно.

1986

Давно собака умерла и кошка,
И воробей смешался с вихрем пыли,
А я живу (хотя и мертв немножко)
И в землю меня люди не зарыли.

А я живу и выхожу порою
Искать свои забытые могилы... –
И вдруг я сам себе кажусь горою,
Где трупы похоронены нагими...

Я сам себе кажусь горою, а не ямой,
Я сам себе кажусь горою Эверестом,
И на вершине мира самой-самой
Беседую с судьбою неизвестной.

Так кто же я – гора или то место,
Где спутники скончались в одночасье,
И смутной незаконченностью жеста
Кого-то призывают к соучастью?..

1987

Вот он, вот он я –
И ярмо на вые,
И тоска-змея,
И опознан Вием.

Вот он я – во вшах,
И меж голых ребер
Светится душа,
Как слеза во гробе.

Всем она видна,
Да обходят душу
Бог и Сатана,
Как лошажью тушу...

1987

Преддверье

1

Вдруг заговорило небо; много лет мы привыкали к его абсолютному молчанию. Оно заговорило, как, впрочем, и следовало ожидать, – гневно: это было его извечной особенностью, знакомой по преданьям; – да и могли ли земные поступки наши согласоваться с ликом миролюбивого ангела в просвете авиационных туч?.. Ночью взрывы бомб слышались так, словно кто-то парировал многолетнюю псевдодемократическую болтовню веским словом индивидуальности; зенитки лаяли, как разбуженная свора собак в большом селе.

Обычно я не спал и раскаты стрельбы странным образом чередовались с морским гулом рифм. Рифмы имели то же значение, что и авиабомбы: они громили окружающее. Иногда, устав от тех и других, я свешивал голову куда-то за спинку кушетки: там роилась темнота, пахнувшая плесенью, – грядущей старостью и закатившимся мячиком детства.

Все это затягивалось до раннего утра, залпы утихали, дремота выключала меня из действительности. Можно было успеть заглянуть за маскировочное одеяло, завесившее окно: небо бледнело, улица неуловимо начинала сереть. В этот фантастический час все реальное как бы дремало, сворачивалось в сон. Вот уж сон давит на веки и начинает куда-то уплывать голова... Но стоило обнять руками подушку – и ко мне прижималось женское тело; озноб войны делал его еще более податливым и желанным. Тогда сон становился исполненной молитвой, очищением и обновлением.

Но война не уходила – я просыпался как боец на поле брани, настороженным слухом ловя приближение слов и мыслей врага; это длилось уже несколько лет, с тех пор как я понял, что газетные передовицы, фуражки с голубым околышем и собаки-ищейки – следят не за кем-либо, а за мною...

Тогда я снова зарывался в подушку, в простыню, в одеяло и – почти по приказу, по принуждению – снился мне акт любви, но толчки спермы могли быть и толчками пролившейся крови.

2

...Иногда я слышал, как из углов выползали мыши. Смысл их появления был ироническим, как внезапное воплощение в мелкозубых хищников газетных статей. С той же осторожностью и наглостью свершала свои мелкие дела острозубая посредственность. Пока я думал о слонах, боящихся мышей, повизгиванье становилось все громче. Вдруг ухал одинокий залп; корпорация длиннохвостых мгновенно затихала. В воображении мыши уходили в сырую затхлость окопов; я сидел и сырыми пальцами сворачивал самокрутку. Я сидел один; мыши проходили сплоченно, как на парадном шествии. Шелест знамен мог заменить ручеек крови...

Кисло воняя, мыши воплощались в солдат после атаки. Солдат вползал в окоп, задев меня сапогом – и не заметив. Тогда и я отползал в угол – размышлять о мышинных углах Истории.

Погромыхивают залпы; я лежу животом вниз и раскинув руки, как бы плывя навстречу смерти. Вдруг я вырастаю в небо: с высоты полета серо-сизое тело земли кажется огромной окопной мышью.

Сентябрь 1941

Случайная страница эвакуации

Солнце сверкало в раскаленном песке и щебне. Я сидел на горячем рельсе и ворочал в мозгу изнуренные мысли, мечтая о влажной земле сырой могилы. Пропотевшая рубашка, приклеившись к телу, делала меня неподвижным; обезумевшее солнце сверкало в полдне.

Роясь знойными щупальцами в несложной архитектуре, оно уносило в воздух густой запах человеческих испражнений и добавляло примесь чего-то машинного. Я встал с рельса и, как бы очутившись в средоточии взбудораженно-немолчного гула, побрел вдоль перекликающегося и скрежещущего протяжения эшелонов с эвакуированным человеком.

...Это они, эвакуированные, засорили железнодорожные пути замасленными обрывками газет, костями впопыхах едомой рыбы и частым откровением однообразных испражнений. Эшелоны заняли даль и ширь, и надрывный крик ошеломленных приветствий рвался из вагона в вагон, в упор. Безразличное спокойствие сохраняли в этом копошащемся неистовстве лишь глухо заколоченные ящики и тяжелые туловища машин на платформах. Крикливым и ненужным приложением к их необходимости копошились люди...

Я брел вдоль скрежещущего протяжения эшелонов и изнывал от жары....

Громоздкий состав с машинами особого назначения остановил меня свистом. Человек, находившийся в центре машины, явно ладил с машинизированной современностью. Я подумал об этом с завистью и вдруг его заметил. Забравшись под чехол, он вклинился в поблескивающую металлическую путаницу и, выпростав в воздух беззаботные руки, наливал в стакан из бутылки, следя за уровнем. Влекомый внезапно пробудившимся любопытством, я подошел вплотную; современник оглушил меня вопросом:

– За полсотни – ногу?.. телячью?..

Мощный хохот железа, прогрохотавшего вдоль рельсов, втянул мне голову в плечи; качая гудящей головой, я повернул к оставленному рельсу необычную экскурсию...

Задыхаясь и растворяясь в жаре, я очутился у платформы с щетинным товаром в хищно опроволоченных ящиках. На одном из ящиков было мое пассажирское место.

...Внизу, у знакомых рельсов, худощавый мужчина с жесткими усиками суетился вокруг жены, скрипя кавалерийскими брюками и прикладывая к потным вискам платочек, смоченный одеколоном. Женская грудь тяжело поднималась и опускалась, тяжело опускался и поднимался живот, женщина была беременна. Кто-то из любопытствующих вдруг заорал:

– Семафор открыт...

Отставной кавалерист потащил жену наверх, на колкое удобство ящиков. Свист, уже знакомый, придерживая бутылку, блестящую в солнце, приближался к месту происшествия. Подмигнув на покрасневшую женщину, детски таращившую пугливые глаза, мой современник взмахнул, как трофеем, телячьей ногой и зычно спросил, не найдется ли на высотах свободного местечка.

Безмолвная матерщина насмешливых глаз была ему ответом.

Она его мало смущала. Белесыми глазами он пробежал по мужским и женским лицам – и от неожиданности икнул, встретившись с непостижимым сочувствием моей меланхолии. Запив икоту квасом и ощутив в кармане телячье копыто, машинный эпикуреец уселся на подножку, значительно чего-то выжидая.

– Эпикур, – бросил я ему тревожно сверху.

– Самому курить нечего, – неохотно отозвался он, украдкой разжигая папиросу.

Поезд тихо тронулся... неяркое, выгоревшее на солнце тряпье все еще спешило к вагонам; мелькали пузатые чайники.

«Люди», – машинально кивнул я навстречу разветвляющимся ручейкам тряпья.

...Оставив позади раскаленные пути полустанка, поезд вошел в кустарник с гигантской, как мачта, сосной и, жалобно свистнув, остановился словно бы по нужде.

Жующие эвакуированные люди, с мелконогой ретивостью, что-то мигом сообразив, рассыпались в мелкий кустарник. Кавалерист тащил за руку спотыкающуюся жену, как тащат за рога упрямых коз. Слабо меня удивив, люди продолжали в кустарнике есть и испражняться. В глубине кустов, у гигантской сосны, где мне мерещился мох тишины и древняя кора одиночества, стояли кавалерист и его жена. Обвив тонкими руками ствол дерева, женщина согнулась и твердо расставила обнаженные ноги. Мужчина стоял сзади и, казалось, вталкивал ее стволом в ствол. Услышав шорох, беременная повернула испуганное лицо; я поспешно отступил назад.

Телячья нога была уже продана, и мой современник, считавший деньги, встретил меня с опроволоченной высоты зычным приветствием:

– Хочешь, закури?..

Сложив деньги в карман, он рассмеялся:

– Пропала охота? (Он сидел на моем месте.)

Я сел на порожнюю ступеньку...

...Там, позади, на отлете нескольких сот неугомонных километров, за полустанками и станциями – горел город. Потко и грязно сдвинувшись с места, город не мог опомниться, хлопотал впопыхах, охал и ахал под свистом летучей смерти, следовал за мною бесконечным числом своих обитателей, продолжался, гадил, совокуплял своих питомцев...

Поезд проносился по сверкающим рельсам; я сидел на подножке; внизу подо мной сверкало и грохотало.

«Ты ищешь выхода? – снова и снова спрашивал я себя, сжавшись на подножке, плясавшей в ураганном танце. – Вот он, выход: всмотришься в мелькающую смерть бегущих колес...»

1942

Отрывок одного вечера

Мать снова мне что-то сказала. Я молчал. Обшаривая глазами комнатные углы, я признавал их все достаточно удобным ложем для умирания. Мать стояла в середине комнаты, маленькая, величественная; она не позволяла мне ложиться, не позволяла умирать.

– Но пойми... – сказал я.

Мать взглянула на меня печально; она понимала – и протянула лопату с корзинкой: я должен был раздобыть картошку на пустырях городских огородов, изрытых до основания владельцами.

– И если найдешь на дороге полено... – робко сказала она.

Я вышел, осторожно прикрыв за собой дверь, словно это дверь, а не я, еще мгновенье – и разрыдается. Дверь простионала – и смолкла.

...Мутный нескончаемый дождь судорожно вздрагивал от порывов ветра. Я не знал, что мне делать с корзинкой. Поставив ее вверх дном, я сел, перекинув через плечо лопату, как праздный могильщик, занявшийся созерцанием пустоты. Внезапно дождь иссяк, и я пожалел об этом: тяжелые неуклюжие силуэты, раскачивая пустые корзины и ведра, шли за город, к пустырям.

Слух прорезал визг, радостный, мальчишеский: я был замечен.

Мальчишки обступили меня как давнего хорошего знакомого; самый бойкий, особенно круглоголовый, со мной поздоровался.

– Как поживаете, господин капитан первого ранга, писатель-Пушкин?

Лица, широкие, по-монгольски скуластые, заплясали в глазах мелким трясом – трясом прорвавшегося хохота; казалось, они испражняются хохотом. Но вот круг замирает в ожидании, как я буду реагировать на новое приветствие.

Я хмурюсь и заливаюсь краской стыда – и вдруг вспоминаю про лопату...

«Убьет», – визжат мальчишки, бросаясь от меня врассыпную.

С лопатой на плече я иду на кладбище откапывать пессимистические стихотворения. Я забыл про картошку.

На кладбище незнакомые мне бандиты забавляются с проституткой; проститутка меня узнаёт: «А-а, Пушкин пришел...» Я вздрагиваю, затем улыбаюсь, здесь зовут меня Пушкиным беззлобно.

Бандиты смотрят на меня сочувственно.

– Бандиты, – говорю я, отказавшись от предложения сесть, – бандиты не вы: бандиты – апологеты бандитизма...

– Пелагеты? – недоверчиво переспрашивает рыжий, глуповатый. – А жрать, чай, и ты хочешь...

– Цыц, – шипит на него Маруся – и глядит истошной бабьей лаской. – Роковой...

– Ну, я пойду...

Рыжий догоняет меня и сует в корзину краюху хлеба.

– У меня в деревне сестра, Пелагеей звать...

– Возможно, – говорю я. – Я вот капитаном первого ранга прозываюсь...

Рыжий хохочет залиvisto и восторженно; доверчиво спрашивает:

– Ты у Маньки – любовником?

– Нет, – говорю я. – Я любовник опозоренной Красоты...

Рыжий восхищенно трясет головой и, гулко ругаясь, трясет мою руку:

– Ах ты, мать твою... А чай, и в конторе мог бы служить!..

Я возвращаюсь в город и дождь как победитель, вынудив из корзины краюху хлеба, я заботливо прячу ее за пазуху.

1942

Проклятье

Я глядел с пригорка.

Проклятье зародилось на железной поверхности крыш и железно сползло вниз.

Солнце садилось.

Я вошел в село.

Двери, запертые наглухо, как скупые крестьянские сердца...

– Вот тебе! вот тебе!.. – хлестало сердце – мокрая тряпка кровавой осени – в дверь, глухо запертую.

Позади меня стояла баба с пристальным вопросом:

– Чаво ботаешь?..

Я попросил милостыню.

– Бог подаст, – сказала баба.

Я попросил тихо, хоть корочку.

– Бог подаст, – равнодушно сказала баба.

«Будь ты... – сердце мое взвилось на дыбы –

– Будь ты проклята!» – закричал я, прорвав нарыв злобы – и баба испуганно посторонила помойное ведро.

Мелькнувшее отражение оскалило мне зубы многодневного голода.

Баба, охнув, забежала за угол избы...

В середине деревенского порядка сопела грязь.

Строем прошли солдаты, у всех были brave мертвенные лица, несмотря на округлость щек.

– Товарищ командер, – обратились с угодливой и, по-видимому, ничтожной просьбой к рябому сбоку.

К каблuku командирова сапога пристало бесцветное петушиное перо, выведенное осенью.

«Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли», – бодро запел строй.

Я закрыл глаза.

Я видел – война заползала в швы матушки-России, как вши на исподнее неряшливой бабы.

Я обошел село. Мне не подавали. «Будьте вы прокляты», – твердил я, пристальные взгляды провожали меня из окон.

У правительственной сельсоветской избы детвора, забавляясь, швырялась ароматными кусками хлеба. Подобрал кусочек, я нарушил удовольствие. Дети заголосили. «Рвань дам!» – каркнул старушечий голос.

Я сутуло перенес подозрение.

– За хлеб пляшут топерича, – внушительно сказал мне оказавшийся рядом – с колесом на плече – мужик.

Баба, ядреная, как кустарный макет земли, озабоченно месила ножищами жидкое тесто грязи и, жмурясь, посасывала огромную морковь.

Я повернулся к ней за сочувствием, она прошла мимо сырого воздуха, жмуря сосущие глаза – прошла мимо.

– Будь ты про-кля-та, – пожелал я настойчиво, когда баба занесла мощную ногу на крыльцо новой избы.

Баба оборотилась стремительно и вдруг заголосила с полным удовольствием; живо повылез народ; пищу жевал он на воздухе растительную.

Баба жаловалась собравшимся, что муж сражается на великих фронтах и не шлет супруге писем, а на прошлой неделе, это всем собравшимся известно, у нее пропала дойная коза.

– У детей отбирает, – напомнил чей-то вдумчивый голос.

– Во! во! – баба удовлетворенно закивала головой, посасывая огромную морковь.

– Как я есть бригадир... – повторяла она с настойчивостью самолюбья.

Оглядываясь со страхом на избу, изображала тонкий плач и не верила, что мое проклятье ничего в бревнах не испортило.

– Как я есть... – повторяла она, не переставая жевать.

Кто-то предложил отвести меня в сельсовет. Неожиданно замычало возвращающееся стадо. Все разошлись.

Баба икнула, перекрестилась и призвала на помощь Бога.

Я слушал тихое сопение грязи.

На ночлег меня не пускали; в глухой избе неожиданно указали пойти к «Обстоятельствам».

Изба «Обстоятельств» вылезала из земли, как грязный чирей.

Дверь в избу «Обстоятельств» была открыта и скучала без гостей.

Я вошел.

Черный старичок со слезящимися глазами назвал себя «Обстоятельствами» и полубопытствовал, по какому зашел я делу.

Я попросился переночевать.

– А валяй, – тихо согласился старичок и, не слезая с кровати, указал босой пяткой в смутный угол.

Я лег. С улицы доносилась та же песня. «Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли».

«Чем солдат сладок? – мутно размышлял я, глотая горькую слюну. – Тем, что поел да набок...»

Стемнело, когда в окно постучали с торжественной деликатностью.

– Выводи, Мудреныч, гостя-то... к обстоятельствам...

Старичок зашуршал, наступил на меня наугад и пискнул, как мышь. Шатаясь, я вышел, вздохнул на пороге и оглянулся: старичок чесал нос и разглядывал тощие длинные пальцы:

– Обстоятельства...

Пятеро молодых людей, образовав полукруг, курили дорогие папиросы.

Слабо мерцала надвигающаяся ночь.

«Хозяева земли... Молодые хозяева земли», – подумал я, вглядываясь в животрепещущие лики.

– Слово и дело! – весело сказал молодой человек: мягкие глаза блудни, оперный малиновый жилет и неправильной формы череп (приподнял он, приветствуя, кепку).

Сомкнув вокруг меня конвой, молодые хозяева направились к околице. Молодой человек в малиновом жилете возглавлял шествие. Звали его друзья «Коренным», они деловито осведомились, сколько он отдал за жилет килограммов лука, «Коренной» деловито ответил.

От изгороди отделилась легкая фигурка мальчонки и засуетилась вокруг происшествия.

Стало как бы светлее и веселее; я почувствовал на себе ореол мученика.

Соскользнула, всхлипнув, калоша. Хозяева земли в непроницаемых сапогах внимательно следили, как ловлю я калошу босой ногой в звездной луже. (Звезда распустила паутину лучей.) «Коренной» заметил, что ношу я калоши малого размера. Мальчонка долго и хрипло смеялся.

«Коренной» вел разговор густо и громко, но тонким фальшивым голосом выводил что-то чувствительное, обрывал на вздохе: «Вертюра...»

Остановились, мальчонка задрезжал: «и-и-р-р-р», «Коренной» вынул из-за голенища расчесочку, тонко запел, причесывая волосы, помочился, жирно сплюнул и длинно выругался.

У меня похолодели скулы, словно к ним прикоснулись жгучие лапки льда.

Я услышал ветер – меня ударили широким размахом в зад и я сорвался с пригорка – по мирозданию – в истошный крик, загрохотав по ухабам, как колесо.